



Михаил Алексеевич Кузмин

Стихотворения

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=613335
Кузмин М.А. Стихотворения: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-48533-8*

Аннотация

Михаил Алексеевич Кузмин по праву считается одним из самых таинственных и непостижимых художников в истории мировой поэзии.

Как отмечал Гумилев, в стихах Кузмина «удивительным образом сочетаются причудливая манерность французского классицизма и нежная настойчивость сонетов Шекспира...» В них слышны «то легкость и оживление старых итальянских песенок, то величавые колокола русских духовных стихов».

Невероятный знаток мировой культуры, один из самых виртуозных мастеров русского стиха, Михаил Алексеевич Кузмин и жизнь свою прожил как некое фантастическое карнавальное действо.

В этой книге представлены два лучших поэтических цикла Михаила Кузмина: первый, появившийся в 1909 году в Санкт-Петербурге, – «Сети» – и последний прижизненный, вышедший в 1929 году в Ленинграде и чудом прорвавшийся к читателю легендарный сборник – «Форель разбивает лед».

Кроме них, перед широким читателем впервые предстанет целая подборка никогда ранее не печатавшихся поэтических текстов, которые Александр Блок считал «не только красивыми, но и прекрасными».

Содержание

Ты – легкий, разноцветный и прозрачный...	5
* * *	19
Сети. Первая книга стихов	20
Мои предки	20
Часть первая	22
I	22
1	22
2	22
3	23
4	23
5	24
6	24
7	25
8	25
9	26
10	27
11	27
12	28
II	29
1. Мой портрет	29
2. В театре	29
3. На вечере	30
4. Счастливый день	31
5. Картонный домик	31
6. Несчастный день	32
7. Мечты о Москве	32
8. Утешение	33
9. Целый день	33
10. Эпилог	34
III	34
1	34
2. Любви утехи	35
3. Серенада	35
4. Флейта Вафилла	36
5	37
6	38
7	38
8	39
Часть вторая	40
I.	40
1. Маскарад	40
2. Прогулка на воде	40
3. Надпись к беседке	41
4. Вечер	41
5. Разговор	42
6. В саду	43

	7. Кавалер	43
	8. Утро	44
	9. Эпитафия	44
II		45
	1	45
	2	46
	3	46
	4	47
	5	47
III		48
	1	48
	2	49
	3	49
	4	50
	5	50
	6	51
Часть третья		52
I		52
	1	52
	2	52
	3	53
	4	53
	5	54
Конец ознакомительного фрагмента.		55

Михаил Кузмин Стихотворения

Ты – легкий, разноцветный и прозрачный...

Сразу после октябрьского переворота 1917 года большинство друзей поэта Кузмина разбежалось из мигом озверевшей России, кто куда. В основном, конечно, «туда», на Запад. Но в отношениях поэта, оставшегося навсегда на родине, без которой он не мыслил своего существования, с беглыми друзьями ничего не изменилось:

...Пускай они в Париже,
Берлине или где,
Любимыми и ближе
Быть на земле нельзя...

И вот, когда появилась в 1922 году оказия, возможность через одного приятеля переслать весточку друзьям на Запад и рассказать им о своем тогдашнем житье-бытье, Кузмин нашел для этого такие слова:

Что бедные мы, но это не новость:
какое же у воробьев именье?
занялись замечательной торговлей:
все продаем и ничего не покупаем,
смотрим на весеннее небо
и думаем о друзьях далеких.
Устало ли наше сердце,
ослабели ли наши руки,
пусть судят по новым книгам,
которые когда-нибудь выйдут...
Расскажите им, что мы живы, здоровы,
часто их вспоминаем,
не умерли, а даже закалились,
скоро совсем попадем в святые,
что не пили, не ели, не обувались,
духовными словами питались...

«Поручение»

Действительно, какое может быть у «воробьев» именье, то есть имущество?!

Да и анкетные данные у «воробьев» не могут быть, как у всех простых людей.

Вот и у Михаила Алексеевича Кузмина, единственного великого и притом не трагического поэта в истории русской поэзии, – который сам о себе как-то написал: «Мне не подходит умирать ни от каких причин», – даже дат рождения было, например, аж целых три.

И все три – вполне официальные!

Первую дату и сегодня может увидеть, что называется, своими глазами, каждый желающий. Для этого надо просто поехать в Санкт-Петербург. Там на знаменитых Литераторских мостках Волкова кладбища вы и прочтёте:

МИХАИЛ КУЗМИН.

ПОЭТ
1875 – 1936

Всякий человек умирает.

Только простой умирает один раз, а великий человек – дважды. Сначала – просто как человек. А потом – еще и как великий человек.

Михаил Алексеевич любил повторять эти слова, но при этом всегда добавлял – но, конечно, бывают и исключения.

А еще он говорил одному своему другу, что не успеет великий человек умереть, и тут же его или забывают, или, наоборот, начинают вспоминать о нем с такой силой, что, кажется, будто он и умер только для того, чтобы было о ком вспоминать.

И когда пришел час воспоминаний о самом Кузмине, и если бы удалось собрать некоторые из воспоминаний, ну, хотя бы тех, кто имел счастье личного знакомства с поэтом, в один цельный блок, то получился бы примерно такой текст:

«Хоронили Михаила Кузмина 1 марта 1936 года, – вспоминает, допустим, один современник. – Зимний день. Серый мокрый снег. Жиденький оркестр в милицейских шинелях и штатских пальто, набранный наспех Союзом писателей...

Перед воротами больницы человек сорок, друзей и знакомых...»

«Литературных» людей, – продолжил бы другой современник, – на похоронах было меньше, чем «полагается», но, может быть, больше, чем хотелось бы видеть...

Вспомнилось, что за гробом Оскара Уайльда шли только семь человек, и то не все дошли до конца...

Почему-то многие вспоминали эти строчки не помню из кого:

И утомившиеся от сверканья,
Кто-то закрыл во гробу, как в ларце,
Глаза, словно два драгоценные камня,
На некрасивом красивом лице...»

«А мне сегодняшние похороны почему-то связались с его стихотворением 1921 года. Помните, какой это страшный был год? Когда мы в августе месяце потеряли сразу и Александра Блока и несчастного недотепу-террориста, а поэта местами даже очень славного, Колю Гумилева:

Мне не горьки нужда и плен,
И разрушение и голод,
Но в душу проникает холод,
Сладелой струйкой вьется тлен.
Что значат «хлеб», «вода», «дрова» —
Мы поняли и будто знаем.
Но с каждым часом забываем
Другие, лучшие слова.
Лежим, как жалостный помет,
На вытоптанном голом поле,
И будем так лежать, доколе
Господь души в нас не вдохнет».

«Ну уж, Кузмин-то никогда не забывал «другие лучшие слова», это ведь он в 1924 году обратился от себя, но формально, вроде как от имени самой Богородицы, которую поэт

всегда считал Заступницей и Покровительницей России, к Святому Михаилу Архангелу со словами, которые могли присниться в такие годы только Кузмину:

Уж, право я, Михайлушка, не знаю,
Что и подумать. Неудобно слуху.
Ненареченной быть страна не может.
Одними литерами не спастись.
Прожить нельзя без Веры и Надежды,
И без Царя, ниспосланного Богом.
Я – женщина. Жалею и злодея,
Но этих за людей я не считаю.
Ведь сами от себя они отверглись.
И от души они бессмертной отказались.
Тебе предам их. Действуй справедливо.

Царя-то мы в том году как раз и получили, только не от Бога, а от Политбюро...
Ну, вот как-то так клубок воспоминаний и покатылся бы дальше.
Вспомнились и последние известные мне строчки поэта:

В окне под потолком желтеет липа
И виден золотой отрезок неба.
Так тихо, будто вы давно забыты,
Иль выздоравливаете в больнице,
Иль умерли, и все давно в порядке.

Нет. Не все в порядке было. На Волково кладбище пробирались по узким грязным переулочкам. Почему-то большая улица была закрыта – может быть, из-за вечного российского ремонта...

Навстречу по узкой дороге ехала большая неуклюжая телега. Возница в желтом кожаном полушубке, идя возле лошади, во весь голос кричал на нашу похоронную процессию русские слова, страшные и обидные...

Писатели шептались, возмущаясь. Но какое дело было проходим до этих людей, идущих за гробом, – мужчин в очках, в мокрых шляпах, кепках, женщин – в промокших шубках, стареньких пальтецах, в шапочках?!...

Всю длинную дорогу шли пешком, вели разговоры о своем, о вечном, то есть, о житейском. Вполголоса. Но неумоимо – как всегда на похоронах. Чтобы как-то пережить сегодняшний ужас, который вскоре придет и к каждому из нас, провожающих.

Поэт лежал заколоченный и прислушивался и, наверно, улыбался в темноте своей обычной всезнающей и всепонимающей улыбкой.

Он-то, как раз, любил именно саму жизнь, жизнь, как таковую, не любил только – ночь:

Нет, день – мой вождь,
Утро и огненные закаты,
А если и ночь – так ясная.
С луной из окна.

У него был один друг, который как-то на Рождество подарил поэту детскую немецкую игрушку, «домик из картона. И вот с какими словами обратился Михаил Алексеевич, уже не очень-то и молодой в те годы, к подаренной игрушке, «картонному домику»:

Ты – легкий, разноцветный и прозрачный,
И блистишь, когда я огонь в тебе зажигаю.
Без огня ты – картонный и мрачный:
Верно ли я твой намек понимаю?

А предсказание твое – такое:
Взойдет заря, придут волхвы с золотом, ладаном и смирной,
Что же это значит другое,
Как не то, что пришлют нам денег, достигнем любви,
славы всемирной?

И в другом стихотворении:

Занесена пургой пушистой,
Живи, любовь, не умирай:
Настал для нас огнисто-льдистый
Морозно-жаркий, русский рай».

А вот строчка из другого его стиха: «Из сердца пригоршней беру я радость». «Насчет потребности в «радости» – это точно про него и о нем. Его радовал «дух мелочей, прелестных и воздушных», смочивший одежду мелкий дождь, ведь он принес с собой «сладкую надежду», любил обстановку театральной сцены, визит друга, «легкость встречи», сладость полночных бесед, насыщенность и глубину любовного чувства.

Переходы, коридоры, уборные,
Лестница витая, полутемная;
Разговоры, споры упорные,
На дверях занавески нескромные.

Пахнет пылью, скипидаром, белилами,
Издали доносятся овации...

Сладко быть при всех поцелованным
С приветом, казалось бы, бездушным,
Сердцем внимать окованным
Милым словам равнодушным...

Он был, наверное, одним из немногих русских творцов, которые любили людей не только как своих читателей и почитателей, или там единомышленников, а людей просто как людей!

Любил их суету, праздники и будни. Не умел долго ни на кого сердиться. Ему нравилось ходить в гости. В гостях непременно пить чай. Болтать, ахая и сокрушаясь, или смеясь и иронизируя, расспрашивая молодежь о ее жизни...

...Он ведь всегда знал, что лирика его элитарна, что никогда он не будет поэтом для всех, а будет – только для избранных, никогда не спешил за популярностью.

– Давайте, как-нибудь сразу договоримся, – сказал он мне однажды: – Или популярность, или дальнейшее творчество.

Творчество требует постоянного внутреннего обновления, в то время как публика ждет, можно сказать, требует от своих любимцев штампов и перепевов тех самых песен, которые она так сильно когда-то полюбила.

Как только зародилось подозрение в застое, снова художник должен ударить в самую глубь своего духа и вызвать новый родник – или умолкнуть навсегда».

«Он мне как-то сказал по поводу одного моего стиха:

– Я вот никогда особо не любил вашего Гейне, но у него есть одно очень точное замечание:

«Первый поэт, который сравнил в своем стихотворении женщину с цветком, был гениальным поэтом.

А вот поэт, который повторил это сравнение женщины с цветком, был гениальным болваном!»

Ну, так не будьте, голубчик, болваном!

А еще, мой милый дружок, скажу вам на ушко уже не как поэту, а как приятному моему сердцу человечку: «Думайте о людях, что они бывают и сволочи. И тогда иногда будете приятно удивлены!»

О! Как часто потом я вспоминал эти слова моего дорогого мэтра!»

«...а еще он очень любил слово «острый».

Это слово было в устах Кузмина большой похвалой.

Он ненавидел трафареты.

Как-то в одном из моих стихотворных опытов я написал «шаткие тени».

Он сказал, что «шаткие тени» уже когда-то написал Фет. Мужик был поганый, а поэт очень даже неплохой.

Я спросил у него – если тени действительно шаткие, то почему бы это мне и не написать снова?

«Если ничего нового ты сказать о тенях не можешь, то никто тебя не просит о них говорить. Говори только о том, что ты самостоятельно увидел как будто «новыми глазами». Острота восприятия мира у тебя должна быть такая интенсивная, будто ты увидел мир в первый раз – как будто ты только сегодня родился, а уже завтра ты – навсегда умрешь – только это ощущение и создает настоящую поэзию...

А все остальное – чепуха, обычные поэтические побрякушки, вздор – и потому никому этого не нужно ни писать, ни читать!»

«...он еще в 1912 году в рецензии на первый сборник Анны Андреевны Ахматовой «Вечер» написал, что «поэты должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь мудрый, радостный и горестный мир. Чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту, как в последний раз...»

«А мне он постоянно напоминал слова своего любимого Родена:

«Самое главное для художника – быть взволнованным, любить, надеяться, трепетать и жить!»

И стихи Ваши должны быть, прежде всего – живыми, а слава, слава – может быть и посмертной»... Вот почему, думал я в тот скорбный день, 1 марта 1936 года, Кузмин и стал одним из тех редких поэтов русских, чье позднее творчество не уступало его раннему творчеству, даже и соперничая с ним не только в мастерстве, мудрости и классической простоте, но и, что, наверное, самое главное, в волшебстве, в музыкальности и гибкости поэтической новизны.

И вот почему его всегда влекли к себе – другая поэтическая молодость и новая поэтическая новизна. В последние годы своей жизни Кузмин очень интересовался новомодными нашими «обереитами», питерскими поэтами Введенским, Хармсом, Заболоцким, Олейниковым».

Но при этом сам никогда не сливался ни с какими самыми гениальными личностями его окружающими, или там направлениями самыми модными, или литературными кружками, хоть и самыми влиятельными на тот или иной исторический момент.

Нет, всегда оставался только самим собой, верный только своим вкусам и сердцу, впечатлениям и мыслям...

«Да ведь он и сам написал в своем Дневнике, как мне рассказывал один близкий ему человек:

«Я не люблю Бетховена, Вагнера и особенно Шумана. Я не люблю Шиллера, Гейне, Ибсена... Я не люблю Байрона. Я не люблю шестидесятые годы 19 века и передвижников...

Я люблю в искусстве вещи или неизгладимо жизненные, хотя бы и грубоватые. Или аристократически уединенные. Не люблю морализирующего дурного гражданского вкуса. В искусстве я склоняюсь к французам и итальянцам. Люблю и трезвость, и откровенную нагроможденность пышностей...

В живописи люблю старинные миньятюры, Боттичелли, Бердслея, люблю Сомова и частью Бенуа, частью Феофилактова. Люблю старые лубочные картины и портреты.

Люблю кошек и павлинов.

Люблю жемчуг, гранаты и такие недорогоценные камни как «бычий глаз», «лунный камень», люблю серебро и красную березу. Янтарь.

Люблю розы, мимозы, нарциссы и левкои. Не люблю ландышей, фиалок и незабудок.

Растения без цветов не люблю...».

«...а еще он не любил носить очки, а в последние годы не носить их уже не мог. Он читал мне свой дневник и разрешил мне переписать из него вот это:

«Дождь на листьях.

Когда после дождя выйдет солнце, все кусты засверкают алмазами и хрусталами, и под легким ветром будто дышит какое-то «гофманское» волшебство.

Странно. Все это продолжается, пока я гляжу без очков. Надену очки, все капли куда-то пропадают. Каждый лист торчит отдельно. Никакой радости в груди, никакого особенного дыхания, никакой феи, будто черт из Андерсеновской сказки вставил мне в глаз осколок зеркала.

Очки – одна из причин рациональности и пессимизма.

Близорукость – основа идеализма и живописи в тесном смысле слова».

После войны, когда понадобилось возвести мемориал многочисленной семье Ульяновых, тот участок, где был похоронен Кузмин, был перепланирован, и прежние надгробия были перенесены, а точнее сказать, попросту выброшены на другое место, где всех и похоронили в одной общей могиле.

То, что его могила оказалась безымянной – как и обожаемого им Моцарта – могло бы и понравиться поэту Кузмину.

Но могильный камень остался и на нем по-прежнему указана дата рождения поэта: 1875 год.

Так появилась первая дата рождения.

Но еще в 1913 году в очередном томе знаменитого дореволюционного биографического словаря Граната на букву «К», очевидно, со слов самого поэта, была указана другая дата рождения:

«Кузмин Михаил Алексеевич – 1877 года рождения».

Стало быть, имеется и вторая дата рождения.

Почему же так важно было самому поэту родиться именно в 1877 году, а не в 1875?

Потому что, ежели поэт родился, к примеру, в 75 году, то он – старший современник Брюсова и приближается по возрасту к Мережковскому, Сологубу и Вячеславу Иванову, а

ежели он – 77 года рождения, тогда он ближе по возрасту к компании Александра Блока, Андрея Белого. А эта компания была ему как-то милее.

Однако на самом деле Михаил Алексеевич Кузмин родился 6(18) октября 1872 года в Ярославле в семье дворянина-старообрядца, отставного морского офицера Алексея Алексеевича Кузмина.

По линии матери, Надежды Дмитриевны (урожденной Федоровой), в роду был французский актер Офрен. Через него поэт считал себя, пусть и далеким, но все-таки родственником французского поэта Теофиля Готье.

«Был такой французский трагик, – пишет в своем дневнике Кузмин, – Офрен, о нем есть в переписке Вольтера с Фридрихом Великим. Он был актером при дворе Фридриха и дальше перебрался актером во французский театр при Екатерине.

У него была дочь, которую он решил отдать только за актера. В нее влюбился молодой эмигрант (вероятно, Офрен загостился в России), чтобы исполнить условие, он сделался актером, актером он был неважным. Но и дочь Офрена, кажется, неважная была актриса, но они поженились и, родив дочку, умерли очень молодыми...

Девочка эта была моей бабушкой. Она воспитывалась в Театральном училище и жила у тетки, играла «амуров» в балетах, но, не кончивши курса, вышла замуж за инспектора классов Федорова чуть ли не 16 лет. Кажется, была веселого и ветреного характера. Имела четырех детей – сына Якова и трех девочек: Анну, Надежду (мою мать) и Елизавету...»

«Я рос один в семье недружной и тяжелой, – вспоминал Кузмин, – с обеих сторон самодурной и опрятной... Я мало знал ласки в детстве, не потому чтобы мой отец и мама не любили меня, но скрытные и замкнутые, они были скупы на ласку. Мало было знакомых детей и я их дичился, если я и сходил, то с девочками. У меня все были подруги, а не товарищи. И я безумно любил свою сестру. Она была поэтическая и оригинальная натура».

А еще маленький Миша любил «играть в куклы, в театр, читать или разыгрывать попури старых итальянских пьес».

«Помню себя совсем маленьким, – напишет Кузмин своему первому любовному другу Георгию Чичерину 18 июня 1899 года, – осенью при вечерней заре, когда прислуга рубит капусту в сених, запах свежей капусты и первый холод осени так бодрит.

Небо палевое и нянька вяжет чулок, сидя на бревне.

И с мучительной тоскою смотря в небо, где летит стая птиц на юг, «Нянька, куда же они летят-то, скажи мне», – со слезами на глазах спрашиваю я.

«В теплые страны, голубчик».

И ночью я вижу море и палевое небо.

И летящих розовых птиц.

И Волга, вся залитая луною.

Все это пленяет меня...»

И далее Кузмин пишет, что уже с ранних лет он понял и то, что только «любовь – есть сущность всего Божьего мира.

Господь благословил Ее и сделал первопричиной Всего, причем Благословение получила не только та любовь, что освящена церковью,

НО И ТА, ЧТО НАРУШАЕТ ВСЕ КАНОНЫ, СТРАСТНАЯ И ПЛОТСКАЯ, СЖИГАЮЩАЯ И ПЛАТОНИЧЕСКАЯ».

Мы – путники: движение – обет наш,

Мы – дети Божьи: творчество – обет наш,

Движение и творчество – жизнь,

Она же любовью зовется.

Старообрядческие нравы родительского дома и атмосфера глухой поволжской провинции – Саратова, куда родители переехали вскоре после рождения Миши и где он начал учебу в гимназии, в которой учился некогда Чернышевский, раннее увлечение западноевропейской музыкой и литературой, так сказать, своеобразное смешение «французского с нижегородским» и наложило свой отпечаток на личность будущего творца, создало в его человеческом и художническом характере уникальный сплав наивной чистосердечности и изысканного сверхутонченного артистизма, соединило в одном человеке страсть к насмешке над бытом жизни и умиление перед жизнью человека как таковой.

Внимательные читатели сразу заметили, что начавшееся еще в детстве, как бы, сочетание благородного русофильства, окрашенного в суровые цвета старообрядчества, и «византизма», в духе известного философа Константина Леонтьева, с музыкально осмысленным, виртуозно играющим европеизмом, лишь усложнявшееся и совершенствовавшееся на протяжении жизни, и определило навсегда творческий облик поэта Кузмина и его совершенно особое место в русской поэзии.

Кузмин очень поздно открыл в себе поэта. Ведь он начал свой путь в 34 года, то есть тогда, когда многие другие великие, да и не великие, а и самые обычные поэты, уже давно кончались как поэты, зато и высоту набрал очень быстро. Уже на третий год своего существования как профессионального поэта, Кузмин нашел свой особенный способ поэтического осознания мира и его выражения в пространстве стихотворения на основе необыкновенно нежного и интимного, поразительного по чуткости отношения к быту и Бытию.

Некоторые знакомцы поэта формулировали свои ощущения еще проще:

«Изящный стилизатор, жеманный французский маркиз в жизни и творчестве, и в то же время – подлинный старообрядец, любитель деревенской русской простоты».

На это Кузмин как-то ответил:

«Истинно целостным восприятием мира обладает только один Бог. Мир же сам по себе лежит в смертной раздробленности и в таком виде достается художнику.

Но художник, если он художник, а не занимается чепухой, повинуюсь Божьей воле, или, что то же самое, голосу Любви, собирает эти части и стремится воскресить их в целостном виде.

И иногда это у него получается».

А теперь все-таки вернемся в те времена, когда Кузмин ни о чем подобном еще даже не задумывался.

То есть ненадолго завернем в осень 1884 года, когда семья будущего поэта переезжает в Петербург, и Миша поступает на учебу в знаменитую Восьмую гимназию Мая. Там он на третьем курсе в 1887 году встречает своего первого настоящего друга, первого своего духовного пастыря и, несмотря на то, что они были почти ровесники, вечного своего покровителя по жизни, – Юшу, Георгия Чичерина, будущего первого советского наркома иностранных дел.

Юша открыл Кузмину новые горизонты духовного развития. Ввел в круг своих увлечений философией, историей, музыкой.

И в эти же годы, с 1887 по 1897, то есть в те годы, когда он закончил гимназию, а затем первых три курса императорской Петербургской Консерватории, где учился по классу композиции у великого русского композитора Николая Алексеевича Римского-Корсакова – в годы становления как личности, описанные Кузминым в «Поучительной истории моих начинаний» в 1906 году, а опубликованной только в 1990 году, а также в письмах к гимназическому другу Чичерину, опубликованным и вовсе только в 2000 году благодаря усилиям выдающегося специалиста по творчеству Кузмина Николая Богомолова, вот в эти самые годы Кузмин переживает и подлинное любовное чувство, обращенное к мужчинам, и осознает

свою отчетливо выраженную гомосексуальность, которая впервые в русской литературе так демонстративно откровенно и ярко отразится во всем его литературном творчестве.

Кузмин был первый русский литератор, кто осознал свой гомосексуализм как абсолютно естественную, совершенно здоровую, неприкосновенную и творчески обогащающую его как поэта — данность.

Листья, цвет и ветка —
Все заключено в одной почке.
Круги за кругами сеткой
Суживаются до маленькой точки.
Крутящийся книзу голубь
Знает, где ему опуститься.
Когда сердце делается совершенно голым,
Видно, из-за чего ему стоит биться.
Любовь большими кругами
До последнего дня доходит,
И близорукими, как у вышивальщиц,
Глазами
В сердце сердца лишь Вас находит.
Через Вас, для Вас, о Вас
Дышу я, живу и вижу,
И каждую неделю, день и час
Делаюсь все ближе и ближе...

Однажды, зимой 1906 года, в меру прогрессивный, и не вовсе бездарный петербургский поэт и прозаик, а кроме того, не в пример иным прочим литераторам, добропорядочный супруг и семьянин, Георгий Чулков на каком-то сборище-журфиксе в некоем крутом либеральном журнале прямо спросил Кузмина:

— Отчего вы любите мужчин?

Подняв на отсталого коллегу свои неправдоподобно громадные глаза, без всякого лишнего пафоса, Кузмин просто и, как всем показалось, доходчиво ответил:

— Мужчин обычно влечет к женщинам простое любопытство. А я предпочитаю то, что мне известно очень хорошо. Я боюсь разочарований.

Когда поэта начинали как-то особенно «доставать» за его не стандартные сексуальные привязанности, он мог и так ответить.

Но до этой смелости и раскованности еще надо было дожить. А поначалу, в годы своих первых влюбленностей, закомплексованный Миша и сам испытывал постоянно давившее на него могильной плитой чувство греха, ощущал почти физически свою угрожающую одиночность среди своих почтенных старообрядческих родственников. Да и среди сверстников он пользовался такой дурной славой, что однажды решил: он должен от всего «этого» очиститься, а «очищение может быть только в странствиях и мытарствах».

Начал он со странствий.

«В 1893 году я встретился с человеком, которого очень полюбил и связь с которым обещала быть прочной. Он был старше меня года на четыре и офицер конного полка».

Кто был этот таинственный гвардеец по имени Жорж, неизвестно до сих пор. Но известно, что именно с ним в 1896 году Кузмин отправился в свое первое путешествие. В Египет. Он пробыл в Александрии всего два месяца, но и этого срока хватило начинающему поэту, чтобы спустя годы создать на основе тогдашних впечатлений один из лучших в мировой поэзии цикл стихов «Александрийские стихи»...

Второй такой случай в истории мы наблюдали только через много лет, когда нобелевский лауреат Иосиф Бродский как-то приехал в славный город Стамбул вообще всего только на один день и этого одного дня ему хватило, чтобы увидеть Стамбул таким, каким его не видели многие, кто всю жизнь там прожил и потом закрепить это видение на страницах своего бессмертного «Путешествия в Стамбул».

Именно в Египте Кузмин вообще впервые начал всерьез относиться и к занятиям поэзией.

Разную красоту я увижу.
В разные глаза насмотрюсь,
Разные губы целовать буду.
Разным кудрям дам свою ласку
И разные имена я шептать буду
В ожидании свиданий в разных рощах.
Все я увижу, но не тебя!

Такое вот грустное письмо получает из Александрии от Кузмина его дружок, оставшийся в холодном осеннем Петербурге.

В марте 1897 года кое-какие деньги заработав, давая частные уроки музыки, Кузмин в последний раз в своей жизни едет в заграницу, осуществляя давнюю мечту живьем увидеть свой идеал, Италию, «где искусство пускает ростки из каждого камня».

В романе «Крылья», который с диким скандалом появится перед изумленным читателем в 1905 году, главный герой, мальчик Ваня, тоже начинает свое путешествие в Европу с Италии:

«Беловатый нежный туман стлался, бежал, казалось, догоняя их, где-то кричали совыта... на востоке неровно и мохнато горела звезда в начавшем розоветь тумане».

Кузмин прожил в своей любимой Италии три месяца, изучая церковную музыку, историю иезуитов и литературу о гностицизме.

В Италии он даже попробовал и вовсе перейти в католичество, пытаясь в нем найти выход из охватившего его духовного кризиса. Но в католики его, в отличие от Вячеслава Иванова, не взяли.

И тогда, вернувшись на родину, Кузмин попробовал духовно спастись через паломничество в поволжские и олонецкие монашеские скиты.

Но и старообрядцем не стал.

В повести «Крылья» молодой купец-старообрядец Саша Сорокин говорит главному герою:

«Как после посещения театра ты Канон Иисусу читать будешь? Легче человека убить».

Ну вот, чтобы никого не убивать, Кузмин и выбрал, в конце концов, не чтение с утра до вечера Канона, а театр, музыку, поэзию, искусство.

Как и Пушкина, «поэта от безумия спасает только Гармония».

«То я ничего не хотел кроме церковности, быта, народности, отвергал все искусство, всю современность, – вспоминал позднее поэт эти самые темные и мрачные годы своей молодости, – то только и бредил Габриэле Д'Аннунцио, новым искусством и чувствительностью».

29 октября 1905 года Кузмин оставил в своем дневнике такое воспоминание:

«Когда я шел домой по узкой темной улочке, я думал, что красоту и прелесть жизни я лучше всего постигаю в Возрождении и Восемнадцатом веке.

Но сложные, смутные настроения при дымных закатах в больших городах, до слез привязанность к плоти, печаль кончившихся вещей, готовность на лишения, какая-то про-

роческая власть, вакхика и мистика, и сладострастие – все это, представляется мне, я нашел скорее или в древних культах смешанных – Рим, Александрия. – или в чистоте еще будущей современности».

По возвращении в Петербург в начале девяностых годов Кузмин волею судеб сходитя с известным в городе семейством Верховских, в этом доме он впервые погружается в жизнь, пусть и чужую, совсем не похожую на ту, которую он прежде видал в домах других своих знакомых, зато полностью погруженную в интерес к поэзии и музыке.

В атмосфере этого дома Кузмин впервые и сам начинает не от случая к случаю, и не от повода к поводу, а регулярно, то есть постоянно, то есть профессионально заниматься сочинением стихов.

Первые стихи были просто текстами к его музыке. Кузмин ведь начинал как композитор, писал оперы, романсы, сонаты, вот и в стихах своих он делал расчет на восприятие слова, КАК СЛОВА ЗВУЧАЩЕГО, А НЕ КАК ЧИТАЕМОГО ГЛАЗАМИ.

И в литературу Кузмин вступил в качестве, как сказали бы в теперешние времена, просто подтекстовщика своих собственных мелодий.

«Кузмин готовился быть композитором, – читаем мы в мемуарной прозе Георгия Иванова «Петербургские зимы». – Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой. Может быть, и всей карьерой.

Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг – а там уж распознали его настоящее призвание.

Стихам Кузмина «учил» Брюсов.

– Вот вы все ищете слов для музыки, – уговаривал его Брюсов, – и не находите подходящих. А другие находят без труда – берут первое попавшееся... и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.

– Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подбирать.

И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы».

Ученик оказался способным».

Не слишком удачно впервые показался в печати драмой в стихах «История рыцаря Д'Алессио» и циклом «Тринадцать сонетов» («Зеленый сборник». Санкт-Петербург. 1905 год), зато уже в следующем 1906 году публикует в брюсовских «Весах» в седьмом номере – цикл стихотворений «Александрийские песни» и в одиннадцатом номере – повесть «Крылья», эти тексты принесли их автору грандиозный успех и так необходимую каждому писателю, особенно поначалу, – скандальную известность.

«Александрийские песни», а затем и другие циклы стихов, особенно первый: «Любовь этого лета», вошедшие затем в первую книгу «Сети» (Москва, 1908 год) поразили современников неожиданной сюжетной интонационной и версификационной раскрепощенностью, новизной поэтического осмысления и преображения.

Александр Блок так отзывался о «Сетях»:

«В то время, когда вскипает кругом общественное море, как собираются люди для обсуждения самых последних, всегда острых и тревожных событий, услышишь иногда песню заходящего певца и заслушаешься.

Таковы стихи Кузмина в наше время.

Он – чужой нашему каждому дню, но поет он так нежно и призывно, что голос его никогда не оскорбит, редко оставит равнодушным и часто напечалит душу о ее прекрасном прошлом и прекрасном будущем, забываемом среди волнений наших железных и каменных будней...»

«Кузмин появился как нельзя вовремя, – пишет Георгий Иванов. – Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вот, вот – именно. Все устали от слога высокого, все хотели «прекрасной ясности», которую провозгласил Кузмин.

И редко чье имя произносилось с большим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями. Но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву. – Вячеславом Ивановым, Иннокентием Анненским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.

Они пленительны и сейчас, его ранние вещи...»

До трагического октября 1917 года поэт выпустил три стихотворные книги:

«Сети».

«Куранты любви» – Москва, 1910 год.

«Осенние озера» – Санкт-Петербург, 1914 год.

«Прекрасный сборник издал Михаил Кузмин, – отзывался на этот сборник Владислав Ходасевич. – С точки зрения формы «Осенние озера» не многим отличаются от первой книги того же поэта... Но общий тон стихов стал значительней. Строже. Прошло увлечение 18 и началом 19 века. В «Осенних озерах» Кузмин выступает почти исключительно как лирик. В его любовных посланиях есть особый, одному Кузмину свойственный оттенок. Личность автора, не скрытая маской стилизатора, становится нам более близкой...»

А после революции Кузмин издал:

Сборник «Вожатый» – СПб, 1918 год, в который вошли стихи 1914 – 1917 годов, написанные еще до октябрьского переворота.

Еще 4 декабря 1917 года поэт радостно отмечает в своем «Дневнике»:

«Солдаты идут с музыкой, мальчики ликуют. Бабы ругаются. Теперь ходят свободно. С грацией, весело и степенно. Чувствуют себя вольными. За одно это благословенен переворот...»

Но уже в марте 1918 года Кузмин вдруг замечает, что «дорвавшиеся до власти «товарищи» ведут себя как Аттилы какие-нибудь, и жить можно только ловким молодцам...».

А в марте 1919 года печально вопрошает: «Не твой ли идеал сбывается, Аракчеев?» И отвечает сам себе: «Россия сейчас похожа на квартиру, где кухня посередине – и всюду чад».

«Александрийские песни», отдельной книгой – уже Петроград, 1921 год.

«Эхо».

«Нездешние вечера» – Петроград, 1921 год.

«Параболы» – Берлин, 1923 год, уже попавшая в список запрещенных к ввозу в Советскую Россию книг.

Кузмин отреагировал на это так: «Ведь для наших дядек и для мамок, опекающих наше искусство чиновников, всякий гений – только чепуха!»

«Новый Гуль» – цикл стихов (Петроград, 1924 год), предваривший, а затем и вошедший в чудом явившийся на свет Божий легендарный последний сборник Кузмина.

«Форель разбивает лед» – уже Ленинград, 1929 год.

«Можно было бы проанализировать сюжет, – пишет о «Форели» прекрасный русский поэт Александр Кушнер, – то есть распутать петляющие ниточки повествования, расплести вымысел и реальность, разгадать искусный узор, использовавший и английскую народную балладу, и фильмы модного в те годы немецкого экспрессионизма («Кабинет доктора Калигари»), и биографические подробности... но не хочется...

И не надо, потому что сам автор не придавал всему этому большого значения.

Толпой нахлынули воспоминанья.
Отрывки из прочитанных романов.
Покойники смешались с живыми,
И так все перепуталось, что я
И сам не рад, что все это затеял.

...Кузмин и в самом деле не ждет от читателя разгадки своей «Форели». Вот уж кому не важно, знает читатель или не знает, кого любит поэт, перед кем он виноват и так далее.

Не в этом видел Кузмин задачу, стоящую перед стихами.

Поэтическая тайна живет для него совсем в другом – в прелести и новизне самого стиха.

В том, что почти не поддается никакому анализу».

«Образ форели, разбивающей лед, проходит через весь сборник, – заметил Георгий Адамович, – это образ жизни, трепещущей, буйной, уничтожающей все преграды.

Стихи в книге почти все сплошь «мажорные»: восторженное славословие бытию, хотя бы и трудному, существованию, хотя бы и скудному».

С середины 1920-х годов у Кузмина практически исчезает возможность публиковать стихи – вот простая и печальная статистика:

1924 год – напечатаны 2 (два!) стихотворения;

1925 год – ни одного;

1926 год – целых три;

и затем до 1929 года, когда «Форель» чудом «разбила лед», и после 1929 года уже до самой смерти поэта – ни одного!

И все-таки поэзия Кузмина еще находит благодарственный отклик в своем давно сложившемся кружке посвященных.

Один из таких близких к Кузмину людей, Всеволод Петров, вспоминал:

«В начале тридцатых годов Кузмин был мало сказать, очень известен – он был знаменит. Полоса непризнания и забвения, позднее так надолго скрывшая его поэзию, еще не наступила».

Эту полосу поэт встретил в своей последней квартире на улице Большой Спасской.

«Надо было подняться на пятый этаж, – вспоминал Всеволод Петров. – Надо было три раза нажать на кнопку коммунального звонка. Тогда открывалась дверь. И за ней возникала атмосфера волшебства. Там жил человек, похожий на Калиостро – Михаил Алексеевич Кузмин...»

Управдом из бывших прапорщиков, излюбленный персонаж рисунков Юрочки Юркуна, относился с почтением к писательской профессии.

Он говорил, что когда-нибудь будет на доме мраморная доска с надписью:

«Здесь жил и Кузмин, и Юркун.
И управдом их не притеснял».

На составные части разлагает
Кристалл лучи – и радуга видна,
И зайчики веселые живут.
Чтоб вновь родиться,
надо умереть.

Александр Корин

* * *

*Пускай я каменный и в нише, —
Я здесь живу и здесь пребуду.
Семью поэта не забуду,
Пусть зов мой громче, зов мой тише.
Кадит рождественская ель
Все мой же хмель, все мой же хмель!*

*Я рвусь из рук, живая рыбка,
Я – ваш младенец, вы – мне дети;
Как прошлый год, так в новом лете
Засветит вам моя улыбка,
И звезды желтые свечей
Горят о ней, горят о ней.*

*Струя иль искра, ветер, пламень,
Восторг и хмель, я – Феникс-птица;
Зовите, я готов резвиться,
Пускай я в нише, пусть я камень.
Вплотную сердце вам обвив,
Я буду жив, я буду жив.*

<1911>

Сети. Первая книга стихов

Мои предки

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;
франты тридцатых годов,
подражающие д'Орсэ и Брюммелю,
внося в позу дэнди
всю наивность молодой расы;
важные, со звездами, генералы,
бывшие милыми повесами когда-то,
сохраняющие веселые рассказы за ромом,
всегда одни и те же;
милые актеры без большого таланта,
принесшие школу чужой земли,
играющие в России «Магомета»
и умирающие с невинным вольтерьянством;
вы – барышни в бандо,
с чувством играющие вальсы Маркалью,
вышивающие бисером кошельки
для женихов в далеких походах,
говеющие в домовых церквах
и гадающие на картах;
экономные, умные помещицы,
хвастающиеся своими запасами,
умеющие простить и оборвать
и близко подойти к человеку,
насмешливые и набожные,
встающие раньше зари зимою;
и прелестно-глупые цветы театральных училищ,
преданные с детства искусству танцев,
нежно развратные,
чисто порочные,
разоряющие мужа на платья
и выдающие своих детей полчасу в сутки;
и дальше, вдали – дворяне глухих уездов,
какие-нибудь строгие бояре,
бежавшие от революции французы,
не сумевшие взойти на гильотину —
все вы, все вы —
вы молчали ваш долгий век,

и вот вы кричите сотнями голосов,

погибшие, но живые,
во мне: последнем, бедном,
но имеющем язык за вас,
и каждая капля крови
близка вам,
слышит вас,
любит вас;
и вот все вы:
милые, глупые, трогательные, близкие,
благословляйтесь мною
за ваше молчаливое благословенье.

Май 1907

Часть первая

I

Любовь этого лета

П.К. Маслову

1

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.

Твой нежный взор, лукавый и манящий, —
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!

2

Глаз змеи, змеи извивы,
Пестрых тканей переливы,
Небывалость знойных поз...
То бесстыдны, то стыдливы
Поцелуев все отливы,
Сладкий запах белых роз...

Замиранье, обниманье,
Рук змеистых завиванье
И искусный трепет ног...
И искусное лобзанье,
Легкость близкого свиданья
И прощанье чрез порог.

3

Ах, уста, целованные столькими,
Столькими другими устами,
Вы пронзаете стрелами горькими,
Горькими стрелами, стами.

Расцветете улыбками бойкими
Светлыми весенними кустами,
Будто ласка перстами легкими,
Легкими милыми перстами.

Пилигрим, разбойник ли дерзостный —
Каждый поцелуй к вам доходит.
Антиной, Ферсит ли мерзостный —
Каждый свое счастье находит.

Поцелуй, что к вам прикасается,
Крепкою печатью ложится,
Кто устам любимым причащается,
С прошлыми со всеми роднится.

Взгляд мольбы, на иконе оставленный,
Крепкими цепями там ляжет;
Древний лик, мольбами прославленный,
Цепью той молящихся вяжет.

Так идешь местами ты скользкими,
Скользкими, святыми местами. —
Ах, уста, целованные столькими,
Столькими другими устами.

4

Умывались, одевались,
После ночи целовались,
После ночи, полной ласк.
На сервизе лиловатом,
Будто с гостем, будто с братом,
Пили чай, не снявши маск.

Наши маски улыбались,
Наши взоры не встречались,
И уста наши немые.
Пели «Фауста», играли,
Будто ночи мы не знали,

Те, ночные, те – не мы.

5

Из поднесенной некогда корзины
Печально свесилась сухая роза,
И пели нам ту арию Розины:
«Io sono docile, io sono rispettosa»¹.

Горели свечи, теплый дождь, чуть слышен,
Стекал с деревьев, наводя дремоту,
Пезарский лебедь, сладостен и пышен,
Венчал малейшую весельем ноту.

Рассказ друзей о прожитых скитаньях,
Спор изощренный, где ваш ум витает.
А между тем в напрасных ожиданиях
Мой нежный друг один в саду блуждает.

Ах, звуков Моцарта светлы лобзанья,
Как дали Рафаэлева «Парнаса»,
Но мысли не прогнать им, что свиданья
Я не имел с четвертого уж часа.

6

Зачем луна, поднявшись, розовеет,
И ветер веет, теплой неги полн.
И челн не чует змеиной зыби волн,
Когда мой дух все о тебе говеет?

Когда не вижу я твоих очей,
Любви ночей воспоминанья жгут —
Лежу – и тут ревниво стерегут
Очарованья милых мелочей.

И мирный вид реки в изгибах дальних,
И редкие огни неспящих окн,
И блеск изломов облачных волокон
Не сгонят мыслей, нежных и печальных.

Других садов тенистые аллеи —
И блеск неверный утренней зари...
Огнем последним светят фонари...

¹ «Я так безропотна, так простодушна» (*ит.*).

И милой резвости любовные затей...

Душа летит к покинутым забавам,
В отравках легких крепкая есть нить,
И аромата роз не заглушить
Простым и кротким сельским, летним травам.

7

Мне не спится: дух томится,
Голова моя кружится
И постель моя пуста, —
Где же руки, где же плечи,
Где ж прерывистые речи
И любимые уста?..

Одеяло обвивало,
Тело знойное пылало,

За окном чернела ночь...
Сердце бьется, сухи руки.
Отогнать любовной скуки
Я не в силах, мне не в мочь...

Прижимались, целовались,
Друг со дружкой сплетались,
Как с змеею паладин...
Уж в окно запахла мята,
И подушка вся измята,
И один я, все один...

8

Каждый вечер я смотрю с обрывов
На блестящую вдали поверхность вод;
Замечаю, какой бежит пароход:
Каменский, Волжский или Любимов.
Солнце стало совсем уж низко,
И пристально смотрю я всегда,
Есть ли над колесом звезда,
Когда пароход проходит близко.
Если нет звезды — значит, почтовый,
Может письма мне привезти.

Спешу к пристани вниз сойти,
Где стоит уже почтовая тележка готовой.

О, кожаные мешки с большими замками,
Как вы огромны, как вы тяжелы!
И неужели нет писем от тех, что мне милы,
Которые бы они написали своими дорогими руками?
Так сердце бьется, так ноет сладко,
Пока я за спиной почтальона жду
И не знаю, найду письмо или не найду,
И мучит меня эта дорогая загадка.
О, дорога в гору уже при звездах.
Одному, без письма!
Дорога – пряма.
Горят редкие огни, дома в садах, как в гнездах.
А вот письмо от друга: «Всегда вас вспоминаю,
Будучи с одним, будучи с другим».
Ну что ж, каков он есть, таким
Я его и люблю и принимаю.
Пароходы уйдут с волнами,
И печально гляжу во след им я —
О мои милые, мои друзья,
Когда же опять я увижусь с вами?

9

Сижу, читая, я сказки и были,
Смотрю в старых книжках умерших портреты.
Говорят в старых книжках умерших портреты:
«Тебя забыли, тебя забыли...»

– Ну, что же делать, что меня забыли,
Что тут поможет, старые портреты? —
И спрашивал: что поможет, старые портреты,
Угрозы ли, клятва ль, мольбы ли?

«Забудешь и ты целованные плечи,
Будь, как мы, старым влюбленным портретом:
Ты можешь быть хорошим влюбленным портретом
С томным взглядом, без всякой речи».

– Я умираю от любви безмерной!
Разве вы не видите, милые портреты? —
«Мы видим, мы видим, — молвили портреты, —
Что ты – любовник верный, верный и примерный!»

Так читал я, сидя, сказки и были,
Смотря в старых книжках умерших портреты.
И не жалко мне было, что шептали портреты:
«Тебя забыли, тебя забыли».

10

Я изнемог, я так устал.
О чем вчера еще мечтал,
Вдруг потеряло смысл и цену.
Я не могу уйти из плену
Одних лишь глаз, одних лишь плеч,
Одних лишь нежно-страстных встреч.

Как раненый, в траве лежу,
На месяц молодой гляжу.
Часов протяжных перемена,
Любви все той же – не измена.
Как мир мне чужд, как мир мне пуст,
Когда не вижу милых уст!

О радость сердца, о любовь,
Когда тебя увижу вновь?
И вновь пленительной отравой
Меня насытит взор лукавый,
И нежность милых прежних рук
Опять вернет мне верный друг?

Лежу и мыслю об одном:
Вот дальний город, вот наш дом,
Вот сад, где прыгают гимнасты,
Куда сходились мы так часто.
О, милый дом!.. о, твой порог!
Я так устал, так изнемог...

11

Ничего, что мелкий дождь смочил одежду:
Он принес с собой мне сладкую надежду.

Скоро, скоро этот город я покину,
Перестану видеть скучную картину.

Я оставшиеся дни, часы считаю,
Не пишу уж, не гуляю, не читаю.

Скоро в путь – так уж не стоит приниматься.
Завтра утром, завтра утром собираться!

Долгий путь, ты мне несносен и желанен,

День отъезда, как далек ты, как ты странен!

И стремлюсь я, и пугаюсь, и робею,
В близость нежной встречи верить я не смею.

Промелькнут луга, деревни, горы, реки,
Может быть, уж не увижу их вовеки.

Ничего-то я не вижу и не знаю, —
Об очах, устах любимых лишь мечтаю.

Сколько нежности в разлуке накоплю я —
Столь сильнее будет сладость поцелуя.

И я рад, что мелкий дождь смочил одежду;
Он принес с собой мне сладкую надежду.

12

Пароход бежит, стучит,
В мерном стуке мне звучит:
«Успокойся, друг мой, скоро
Ты увидишь нежность взора,
Отдохнешь от скучных мук
В сладких ласках прежних рук».

Сплю тревожно; в чутком сне
Милый друг все снится мне:
Вот прощанье, вот пожатья,
Снова встреча, вновь объятья,

И разлукой стольких дней
Час любви еще сильней.

Под окошком я лежу
И в окно едва гляжу.
Берега бегут игриво,
Будто Моцарта мотивы,
И в разрывы светлых туч
Мягко светит солнца луч.

Я от счастья будто пьян.
Все милы мне: капитан,
Пассажиры и матросы,
Лишь дорожные расспросы
Мне страшны, чтобы мой ум
Не утратил ясных дум.

Пароход бежит, стучит,
В мерном стуке мне звучит:
«Успокойся, друг мой, скоро
Ты увидишь нежность взора,
Отдохнешь от скучных мук
В сладких ласках прежних рук».

Июнь – август 1906

II

Прерванная повесть

1. Мой портрет

Любовь водила Вашею рукою,
Когда писали этот Вы портрет,
Ни от кого лица теперь не скрою,
Никто не скажет: «Не любил он, нет».

Клеймом любви навек запечатленны
Черты мои под Вашею рукой;
Глаза глядят, одной мечтой плененны,
И беспокоен мертвый их покой.

Венок за головой, открыты губы,
Два ангела напрасных за спиной.
Не поразит мой слух ни гром, ни трубы,
Ни тихий зов куда-то в край иной.

Лишь слышу голос Ваш, о Вас мечтаю,
На Вас направлен взгляд недвижных глаз.
Я пламенею, холодею, таю,
Лишь приближаясь к Вам, касаясь Вас,

И скажут все, забывши о запрете,
Смотря на смуглый, томный мой овал:
«Одним любовь водила при портрете —
Другой — его любовью колдовал».

2. В театре

Переходы, коридоры, уборные,
Лестница витая, полутемная;
Разговоры, споры упорные,

На дверях занавески нескромные.

Пахнет пылью, скипидаром, белилами,
Издали доносятся овации,
Балкончик с шаткими перилами,
Чтоб смотреть на полу декорации.

Долгие часы ожидания,
Болтовня с маленькими актрисами,
По уборным, по фойе блуждание,
То в мастерской, то за кулисами.

Вы придете совсем неожиданно,
Звонко стуча по коридору —
О, сколько значенья придано
Походке, улыбке, взору!

Сладко быть при всех поцелованным.
С приветом, казалось бы, бездушным,
Сердцем внимать окованным
Милым словам равнодушным.

Как люблю я стены посыревшие
Белого зрительного зала,
Сукна на сцене серевшие,
Ревности жало!

3. На вечере

Вы и я, и толстая дама,
Тихонько затворивши двери,
Удалились от общего гама.

Я играл Вам свои «Куранты»,
Поминутно скрипели двери,
Приходили модницы и франты.

Я понял Ваших глаз намеки,
И мы вместе вышли за двери,
И все нам вдруг стали далеки.

У рояля толстая дама осталась,
Франты стадом толпились у двери,
Тонкая модница громко смеялась.

Мы взошли по лестнице темной,
Отворили знакомые двери,

Ваша улыбка стала более томной.

Занавесились любовью очи,
Уже другие мы заперли двери...
Если б чаще бывали такие ночи!

4. Счастливым день

Целый день проведем мы сегодня вместе!
Трудно верить такой радостной вести!
Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом:
Вы – в своей голландской шапке, с пледом.
Вместе визиты, – на улицах грязно...
Так любовно, так пленительно-буржуазно!
Мы верны правилам веселого быта —
И «Шабли во льду» нами не позабыто.
Жалко, что вы не любите «Вены»,
Но отчего трепещу я какой-то измены?
Вы сегодня милы, как никогда не бывали,
Лучше Вас другой отыщется едва ли.
Приходите завтра, приходите с Сапуновым —
Милый друг, каждый раз Вы мне кажетесь новым!

5. Картонный домик

Мой друг уехал без прощанья,
Оставив мне картонный домик.
Милый подарок, ты – намек или предсказанье?
Мой друг – бездушный насмешник или нежный комик?
Что делать с тобою, странное подношение?
Зажгу свечу за окнами из цветной бумаги.
Не сулишь ли ты мне радости рождение?
Не близки ли короли-маги?
Ты – легкий, разноцветный и прозрачный,
И блестяшь, когда я огонь в тебе зажигаю.
Без огня ты – картонный и мрачный:
Верно ли я твой намек понимаю?
А предсказание твое – такое:
Взойдет звезда, придут волхвы с золотом, ладаном и смирной.
Что же это может значить другое,
Как не то, что пришлют нам денег, достигнем любви, славы
всемирной?

6. Несчастный день

Я знаю, что у Вас такие нравы:
Уехать, не простясь, вернуться тайно,
Вам любо поступать необычайно, —
Но как Вам не сказать, что Вы не правы?

Быть в том же городе, так близко, близко, —
И не видеть, не слышать, не касаться,
Раз двадцать в день к швейцару вниз спускаться,
Смотреть, пришла ль столь жданная записка.

Нет, нет и нет! чужие ходят с Вами
И говорят, и слышат без участия

То, что меня ввергало б в трепет счастья,
И руку жмут бездушными руками.

Извозчикам, актерам, машинистам —
Вы всем открыты, все Вас могут видеть,
Ну что ж, любви я не хочу обидеть:
Я буду терпеливым, верным, чистым.

7. Мечты о Москве

Розовый дом с голубыми воротами;
Шапка голландская с отворотами;

Милые руки, глаза неверные,
Уста любимые (неужели лицемерные?);

В комнате гардероб, кровать двуспальная,
Из окна мастерской видна улица дальняя;

В Вашей столовой с лестницей внутренней
Так сладко пить чай или кофеи утренний;

Вместе целые дни, близкие гости редкие,
Шум, смех, пенье, остроты меткие;

Вдвоем по переулкам снежным блуждания,
Долгим поцелуем ночи начало и окончание.

8. Утешение

Я жалкой радостью себя утешу,
Купив такую ж шапку, как у Вас;
Ее на вешалку, вздохнув, повешу
И вспоминать Вас буду каждый раз.

Свое увидя мельком отражение,
Я удивлюсь, что я не вижу Вас,
И дорисует вмиг воображение
Под шапкой взгляд неверных, милых глаз.

И, проходя случайно по передней,
Я вдруг пленюсь несбыточной мечтой,
Я обольщусь какой-то странной бредней:
«Вдруг он приехал, в комнате уж той».

Мне видится знакомая фигура,
Мне слышится Ваш голос – то не сон, —
Но тотчас я опять пройду понуро,
Пустой мечтой на миг лишь обольщен.

И залу взглядом обведу пустую:
Увы, стеклом был лживый тот алмаз!
И лишь печально отворот целую
Такой же шапки, как была у Вас.

9. Целый день

Сегодня целый день пробуду дома;
Я видеть не хочу чужих людей,
Владеет мною грустная истома,
И потерял я счет несчастных дней.

Морозно, ясно, солнце в окна светит,
Из детской слышен шум и смех детей;
Письмо, которому он не ответит,
Пишу я тихо в комнате своей.

Я посижу немного у Сережи,
Потом с сестрой, в столовой, у себя —
С минутой каждой Вы мне все дороже,
Забыв меня, презревши, не любя.

Читаю книгу я, не понимая,
И мысль одно и то же мне твердит:

«Далек зимой расцвет веселый Мая,
Разлукою любовь кто утвердит?»

Свет двух свечей не гонит полумрака,
Печаль моя – упорна и тупа.
И песенку пою я Далайрака
«Mon bien-aimé, hélas, ne revient pas!»²

Вот ужин, чай, холодная котлета,
Ленивый спор домашних – я молчу;
И совершив обрядность туалета,
Скорей тушу унылую свечу.

10. Эпилог

Что делать с вами, милые стихи?
Кончаются, едва начавшись.
Счастливы все: невесты, женихи,
Покойник мертв, скончавшись.

В романах строгих ясны все слова,
В конце – большая точка;
Известно – кто Арман, и кто вдова,
И чья Элиза дочка.

Но в легком беге повести моей
Нет стройности намека,
Над пропастью летит она вольней
Газели скака.

Слез не заметит на моем лице
Читатель плакса,
Судьбой не точка ставится в конце,
А только клякса.

Ноябрь 1906 – январь 1907

III

Разные стихотворения

1

На берегу сидел слепой ребенок,

² «Мой любимый, увы, не возвращается!» (фр.)

И моряки вокруг него толпились;
И, улыбаясь, он сказал: «Никто не знает,
Откуда я, куда иду и кто я,
И смертный избежать меня не может,
Но и купить ничем меня нельзя.
Мне все равны: поэт, герой и нищий,
И, сладость неизбежности неся,
Одним я горе, радость для других.
И юный назовет меня любовью,
Муж – жизнью, старец – смертью. Кто же я?»

1904

2. Любви утехи

К рассказу С. Ауслендера «Вечер у г-на де Севираж»

*Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie³.*

Любви утехи длятся миг единый,
Любви страдания длятся долгий век.
Как счастлив был я с милою Надиной,
Как жадно пил я кубок томных нег!

Но ах! недолго той любви нежной
Мы собирали сладкие плоды:
Поток времен, насытый и мятежный,
Смыл на песке любимые следы.

На том лужке, где вместе мы резвились,
Коса скосила мягкую траву;
Венки любви, увы! они развились,
Надины я не вижу наяву.

Но долго после в томном жаре нег
Других красавиц звал в бреду Надиной.
Любви страдания длятся долгий век,
Любви утехи длятся миг единый.

Ноябрь 1906

3. Серенада

К рассказу С. Ауслендера «Корабельщики»

Сердце женщины – как море,

³ Наслаждение любви длится лишь миг, Печаль любви длится всю жизнь (фр.). – Ред.

Уж давно сказал поэт.
Море, воле лунной вторя,
То бежит к земле, то нет.

То послушно, то строптиво,
Море – горе, море – рай;
Иль дремли на нем лениво,
Или снасти подбирай.

Кормщик опытный и смелый
Не боится тех причуд,
Держит руль рукой умелой
Там сегодня, завтра тут.

Что ему морей капризы —
Ветер, буря, штиль и гладь?
Сердцем Биче, сердцем Лизы
Разве трудно управлять?

Август 1907

4. Флейта Вафилла **К рассказу С. Ауслендера «Флейта Вафилла»**

Флейта нежного Вафилла
Нас пленила, покорила,
Плен нам сладок, плен нам мил,
Но еще милей и слаще,
Если встречен в темной чаше
Сам пленительный Вафилл.

Кто ловчей в любовном лове:
Алость крови, тонкость брови?
Гроздь ль темные кудрей?
Жены, юноши и девы —
Все текут на те напевы.
Все к любви спешат скорей.

О, Вафилл, желает каждый
Хоть однажды страстной жажды
Сладко ярость утолить,
Хоть однажды, пламенея,
Позабиться, томно млея, —
Рвися после жизни нить!

Но глаза Вафилла строги,
Без тревоги те дороги,
Где идет сама любовь.

Ты не хочешь, ты не знаешь,
Ты один в лесу блуждаешь,
Пусть других мятется кровь.

Ты идешь легко, спокоен.
Царь иль воин – кто достоин
Целовать твой алый рот?
Кто соперник, где предтечи,
Кто обнимет эти плечи,
Что лобзал один Эрот?

Сам в себе себя лобзая,
Прелесть Мая презирая,
Ты идешь и не глядишь.

Мнится: вот раскроешь крылья
И без страха, без усилия
В небо ясное взлетишь.

Февраль 1907

5

«Люблю», сказал я, не любя —
Вдруг прилетел Амур крылатый
И, руку взявши, как вожатый,
Меня повлек вослед тебя.

С прозревших глаз сметая сон
Любви минувшей и забытой,
На светлый луг, росой омытый,
Меня неожиданно вывел он.

Чудесен утренний обман:
Я вижу странно, прозревая,
Как алость нежно-заревая
Румянит смутно зыбкий стан;

Я вижу чуть открытый рот,
Я вижу краску щек стыдливых,
И взгляд очей еще сонливых
И шеи тонкой поворот.

Ручей журчит мне новый сон,
Я жадно пью струи живые —
И снова я люблю впервые,
Навеки снова я влюблен!

Апрель 1907

6

О, быть покинутым – какое счастье!
Какой безмерный в прошлом виден свет —
Так после лета – зимнее ненастье:
Все помнишь солнце, хоть его уж нет.

Сухой цветок, любовных писем связка,
Улыбка глаз, счастливых встречи две, —
Пусть теперь в пути темно и вязко,
Но ты весной бродил по мураве.

Ах, есть другой урок для сладострастья,
Иной есть путь – пустынен и широк.
О, быть покинутым – такое счастье!
Быть нелюбимым – вот горчайший рок.

Сентябрь 1907

7

Мы проехали деревню, отвели нам отвода,
В свежем вечере прохлады, не мешают овода,
Под горой внизу, далеко, тихо пенится вода.

Серый мох, песок и камни, низкий, редкий, мелкий лес,
Солнце тускло, сонно смотрит из-за розовых завес,
А меж туч яснее холод зеленеющих небес.

Ехать молча, сидя рядом, молча длинный, длинный путь,
Заезжать в чужие избы выпить чай и отдохнуть,
В сердце темная тревога и тоски покорной муть.

Так же бор чернел в долине, как мы ездили в скиты,
То же чувство в сердце сиром полноты и пустоты,
Так же молча, так же рядом, но сидел со мною ты.

И еще я вспоминаю мелкий лес, вершину гор,
В обе стороны широкий моря южного простор,
И каноника духовный, сладко-строгий разговор.

Так же сердце ныло тупо, отдаваясь и грустя,
Так же ласточки носились, землю крыльями чертя,
Так же воды были видны, в отдаленности блестя.

Память зорь в широком небе, память дальнего пути,

Память сердца, где смешались все дороги, все пути —
Отчего даже теперь я не могу от вас уйти?

Июнь 1907

8

При взгляде на весенние цветы,
желтые и белые,
милые своею простотой,
я вспоминаю Ваши щеки,
горящие румянцем зари
смутной и страстно тревожащей.

Глядя на быстрые речки,
пенящиеся, бурливые,
уносящие бревна и ветки,
дробящие отраженную голубизну небес,
думаю я о карих,
стоячих,
волнующих своею неподвижностью
глазах.

И, следя по вечернему небу
за медленным трепетом
знамен фабричного дыма,
я вижу Ваши волосы
не развевающиеся,
короткие,
и даже еще более короткие,
когда я видел Вас последний раз.

Целую ночь, целый день
я слышу шум машин,
как биенье неустанного сердца,
и все утра, все вечера
меня мучит мысль о Вашем сердце,
которое — увы! — бьется не для меня,
не для меня!

Май 1907

Часть вторая

I.

Ракеты

*В.А. Наумову
Две маленькие звездочки —
век суетных маркиз.*
Валерий Брюсов

1. Маскарад

Кем воспета радость лета:
Роща, радуга, ракета,
На лужайке смех и крик?
В пестроте огней и света
Под мотивы менуэта
Стройный фавн главой поник.

Что белеет у фонтана
В серой нежности тумана?
Чей там шепот, чей там вздох?
Сердца раны лишь обманы,
Лишь на вечер те тюрбаны —
И искусствен в гроте мох.

Запах грядок прян и сладок,
Арлекин на ласки падок,
Коломбина не строга.
Пусть минутны краски радуг,
Милый, хрупкий мир загадок,
Мне горит твоя дуга!

2. Прогулка на воде

Сквозь высокую осоку
Серп серебряный блесит;
Ветерок, летя с востоку,
Вашей шалью шелестит.

Мадригалы Вам не лгали,
Вечность клятвы не суля,
И блаженно замирали
На высоком нежном Ia.

Из долины мандолины —
Чу! – звенящая струна,
Далеко из-за плотины
Слышно ржанье табуна.

Вся надежда – край одежды
Приподнимет ветерок,
И, склонив лукаво вежды,
Вы покажете носок.

Где разгадка тайной складки
На роброне на груди?
На воде прогулки сладки —
Что-то ждет нас впереди?

3. Надпись к беседке

Здесь, страстью сладкою волнуясь и горя,
Меня спросили Вы, люблю ли.
Здесь пристань, где любовь бросает якоря,
Здесь счастье знал я в ясном июле.

4. Вечер

Жарко-желтой позолотой заката
Стекла окон горят у веранды.
«Как плечо твое нежно покато!»
Я вздыхал, ожидая Аманды.

Ах, заря тем алей и победней,
Чем склоняется ниже светило —
И мечты о улыбке последней
Мне милее всего, что было.

О, прощанье на лестнице темной,
Поцелуй у вышитых кресел,
О, Ваш взор, лукавый и томный,
Одинокие всплески весел!

Пальцы рук моих пахнут духами,
В сладкий плен заключая мне душу.
Губы жжет мне признание стихами,
Но секрета любви не нарушу.

Отплывать одиноко и сладко

Будет мне от пустынной веранды,
И в уме все милая складка
На роброне милой Аманды.

5. Разговор

Маркиз гуляет с другом в цветнике,
У каждого левкой в руке,
А в парнике
Сквозь стекла видны ананасы.

Ведут они интимный разговор,
С улыбкой взор встречает взор,
Цветной узор
Пестрит жилетов нежные атласы.

«Нам дал приют китайский павильон!»
В воспоминанья погружен,
Умолкнул он,
А тот левкой вдыхал с улыбкой тонкой.

– Любовью Вы, мой друг, ослеплены,
Но хрупки и минутны сны,
Как дни весны,
Как крылья бабочек с нарядной перепонкой.

Вернее дружбы связь, поверьте мне:
Она не держит в сладком сне,
Но на огне
Вас не томит желанием напрасным.

«Я дружбы не забуду никогда —
Одна нас единит звезда;
Как и всегда
Я только с Вами вижу мир прекрасным!»

Слова пустые странно говорят,
Проходит тихо окон ряд,
А те горят,
И не видны за ними ананасы.

У каждого в руке левкая цвет,
У каждого в глазах ответ,
Вечерний свет
Ласкает платья нежные атласы.

6. В саду

Их руки были приближены,
Деревья были подстрижены,
Бабочки сумеречные летали.

Слова все менее ясные,
Слова все более страстные
Губы запекшиеся шептали.

«Хотите знать Вы, люблю ли я,
Люблю ли, бесценная Юлия?
Сердцем давно Вы это узнали».

– Цветок я видела палевый
У той, с кем все танцевали Вы,
Слепы к другим дамам в той же зале.

«Клянусь семейною древностью,
Что вы обмануты ревностью —
Вас лишь люблю, забыв об Аманде!»

Легко сердце прелестницы,
Отлоги ступени лестницы —
К той же ведут они их веранде.

Но чьи там вздохи задушены?
Но кем их речи подслушаны?
Кто там выходит из-за боскета?

Муж Юлии то обманутый,
В жилет атласный затянутый —
Стекла блеснули его лорнета.

7. Кавалер

Кавалер по кабинету
Быстро ходит, горд и зол,
Не напудрен, без жилету
И забыт цветной камзол.

«Вряд ли клятвы забывали
Так позорно, так шутя!
Так обмануто едва ли
Было глупое дитя.

Два удара сразу к ряду
Дам я, ревностью горя,
Эта шпага лучше яду,
Что дают аптекаря.

Время Вашей страсти ярость
Охладит, мой господин;
Пусть моя презренна старость,
Кавалер не Вы один.

Вызов, вызов, шпагу эту
Обнажаю против зол».
Так ходил по кабинету
Не напудрен, горд и зол.

8. Утро

Чуть утро настало, за мостом сошлись,
Чуть утро настало, стада еще не паслись.

Приехало две кареты – привезло четверых,
Уехало две кареты – троих увезло живых.

Лишь трое слыхало, как павший закричал,
Лишь трое видало, как кричавший упал.

А кто-то слышал, что он тихо шептал?
А кто-то видел в перстне опал?

Утром у моста коров пастухи пасли,
Утром у моста лужу крови нашли.

По траве росистой след от двух карет,
По траве росистой – кровавый след.

9. Эпитафия

Двадцатую весну, любя, он встретил,
В двадцатую весну ушел, любя.
Как мне молчать? как мне забыть тебя,
Кем только этот мир и был мне светел?

Какой Аттила, ах, какой Аларих
Тебя пронзил, красою не пронзен?
Скажи, без трепета как вынес он
Затменный взгляд очей прозрачно карих?

Уж не сказать умолкшими устами
Тех нежных слов, к которым я привык.
Исчез любви пленительный язык,
Погиб цветок, пленясь любви цветами.

Кто был стройней в фигурах менуэта?
Кто лучше знал цветных шелков подбор?
Чей был безукоризненной пробор?
Увы, навеки скрылось все это.

Что скрипка, где оборвалась квинта?
Что у бессонного больного сон?
Что жизнь тому, кто, новый Аполлон,
Скорбит над гробом свежим Гиацинта?

Июль 1907

II

Обманщик обманувшийся

1

Туманный день пройдет уныло
И ясный наступает вслед,
Пусть сердце ночью все изныло,
Сажуся я за туалет.

Я бледность щек удвою пудрой,
Я тень под глазом наведу,
Но выраженья воли мудрой
Для жалких писем я найду.

Не будет вздохов, восклицаний,
Не будет там «увы» и «ах» —
И мука долгих ожиданий
Не засквозит в сухих строках.

Но на прогулку не оденусь,
Нарочно сделав томный вид
И говоря: «Куда я денусь,
Когда любовь меня томит?»

И скажут все: «Он лицемерит,
То жесты позы, не любви»;
Лишь кто сумеет, тот измерит,
Как силен яд в моей крови.

2

Вновь я бессонные ночи узнал
Без сна до зари,
Опять шептал
Ласковый голос: «Умри, умри».

Кончивши книгу, берусь за другую,
Нагнать ли сон?
Томясь, тоскую,
Чем-то в несносный плен заключен.

Сто раз известную «Мапоп» кончаю,
Но что со мной?
Конечно, от чаю
Это бессонница ночью злой...

Я не влюблен ведь, это верно,
Я – нездоров.
Вот тихо, мерно
К ранней обедне дальний зов.

Вас я вижу, закрыв страницы,
Закрыв глаза;
Мои ресницы
Странная вдруг смочила слеза.

Я не люблю, я просто болен,
До самой зари
Лежу, безволен,
И шепчет голос: «Умри, умри!»

3

Строят дом перед окошком.
Я прислушиваюсь к кошкам,
Хоть не Март.
Я слежу прилежным взором
За изменчивым узором
Вещих карт.

«Смерть, любовь, болезнь, дорога» —
Предсказаний слишком много:
Где-то ложь.
Кончат дом, стасую карты,

Вновь придут Апрель, Марты —
Ну и что ж?

У печали на причале
Сердце скорби укачали
Не на век.
Будет дом весной готовым,
Новый взор найду под кровом
Тех же век.

4

Отрадно улетать в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони,
И там на вольном лоне, в испытанном затоне,
Вздыхая, отдыхать;

Отрадно провести весь день в прогулках пестрых,
Отдаться в сети черт пленительных и острых,
В плену часов живых о темных, тайных сестрах,
Зевая, забывать;

В кругу друзей читать излюбленные книги,
Выслушивать отчет запутанной интриги,
Возможность, отложив условностей вериги,
Прямой задать вопрос;

Отрадно, овладев влюбленности волненьем,
Спокойно с виду чай с инбирным пить вареньем
И слезы сочетать с последним примиреньем
В дыму от папирос;

Но мне милей всего ночь долгую томиться,
Когда известная известную страницу
Покроет, сон нейдет смежить мои ресницы
И глаз все видит Вас;

И память – верная служанка – шепчет внятно
Слова признания, где все теперь понятно,
И утром брошены сереющие пятна,
И дня уж близок час.

5

Где сомненья? где томленья?
День рожденья, обрученья

Час святой!
С новой силой жизни милой
Отдаюсь, неуголимый,
Всей душой.
Вот пороги той дороги,
Где не шли порока ноги,
Где – покой.

Обручались, причащались,
Поцелуем обменялись
У окна.
Нежно строги взоры Ваши,
Полны, полны наши чаши —
Пить до дна.
А в окошко не случайный
Тайны друг необычайной —
Ночь видна.

Чистотою страсть покрою,
Я готов теперь для боя —
Щит со мной.

О, далече – легкость встречи!
Я беру ярмо на плечи —
Груз двойной.
Тот же я, но нежным взором
Преграждает путь к позорам
Ангел мой.

Октябрь 1907

III Радостный путник

1

Светлая горница – моя пещера,
Мысли – птицы ручные: журавли да аисты;
Песни мои – веселые акафисты;
Любовь – всегдашняя моя вера.

Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,
Я как одёжу на гвоздик повесил.

Над горем улыбнемся, над счастьем поплачем.

Не трудно акафистов легких чтение.
Само приходит отрадное излечение
В комнате, озаренной солнцем не горячим.

Высоко окошко над любовью и тлением,
Страсть и печаль, как воск от огня, смягчаются.
Новые дороги, всегда весенние, чаются,
Простясь с тяжелым, темным томлением.

2

Снова чист передо мною первый лист,
Снова солнца свет лучист и золотист;

Позабита мной прочтенная глава,
Неизвестная заманчиво – нова.

Кто собрался в путь, в гостинице не будь!
Кто проснулся, тот забудь видений муть!

Высоко горит рассветная звезда,
Что прошло, то не вернется никогда.

Веселей гляди, напрасных слез не лей,
Средь полей, между высоких тополей

Нам дорога наша видится ясна:
После ночи – утро, после зим – весна.

А устав, среди зеленых сядем трав,
В книге старой прочитав остаток глав:

Ты – читатель своей жизни, не писец,
Неизвестен тебе повести конец.

3

Горит высоко звезда рассветная
Как око ясного востока,
И, одинокая, поет далеко
Свирель приветная.

Заря алеет в прохладной ясности,
Нежнее вздоха воздух веет,
Не млеет роща, даль светлеет
В святой прозрачности.

В груди нет жала и нету жалобы,
Уж спало скорби покрывало.
И где причало, от начала
Что удержало бы?

Вновь вереница взоров радостных
И птица райская мне снится.
Открыться пробил час странице
Лобзаний сладостных!

4

В проходной сидеть на диване,
Близко, рядом, плечо с плечом,
Не думая об обмане,
Не жалея ни о чем.

Говорить Вам пустые речи,
Слушать веселые слова,
Условиться о новой встрече
(Каждая встреча всегда нова!)

О чем-то молчим мы, и что-то знаем,
Мы собираемся в странный путь.
Не печально, не весело, не гадаем —
Покуда здесь ты, со мной побудь.

5

Что приходит, то проходит,
Что проходит, не придет:
Чья рука нас верно водит,
Заплетая в хоровод?

Мы в плену ли потонули?
Жду ли, плачу ли, пою ли —
Счастлив я своей тюрьмой.
Милый пленный, страж смиренный,
Неизменный иль изменный,
Я сегодня – твой, ты – мой.

Мы идем одной дорогой,
Мы полны одной тревогой.
Кто преступник? кто конвой?
А любовь, смеясь над нами,

Шьет нам пестрыми шелками,
Наклоняясь над канвой.

Вышивает и не знает,
Что-то выйдет из шитья.
«Как смешон, кто не гадает,
Что могу утешить я!»

6

Уж не слышен конский топот,
Мы одни идем в пути.
Что нам значит скучный опыт?
Все вперед, вперед идти.

Неизвестен путь далекий:
Приведет иль заведет,
Но со мной не одинокий
Милый спутник путь пройдет.

Утро ясно и прохладно,
Путь – открыт, звезда горит,
Так любовно, так отрадно
Спутник милый говорит:

«Друг, ты знаешь ли дорогу?
Не боишься ль гор и вод?»
– Успокой, мой друг, тревогу:
Прямо нас звезда ведет.

Наши песни – не унылы:
Что нам знать? чего нам ждать?
Пусть могилы нам и милы,
Путь должны мы продолжать.

Мудро нас ведет рукою
Кто послал на этот путь.
Что я скрою? что открою?
О вчерашнем дне забудь.

Будет завтра, есть сегодня,
Будет лето, есть весна.
С корабля опустят сходни,
И сойдет Любовь ясна.

Ноябрь 1907

Часть третья

I

Мудрая встреча

Вяч. И. Иванову

1

Стекла стынут от холода,
Но сердце знает.
Что лед растает —
Весенне будет и молодо.

В комнатах пахнет ладаном,
Тоска истает,
Когда узнает,
Как скоро дастся отрада нам.

Вспыхнет на ризах золото,
Зажгутся свечи
Желанной встречи —
Вновь цело то, что расколото.

Снегом блистают здания.
Провидя встречи,
Я тепло свечи —
Мудрого жду свидания.

2

О, плакальщики дней минувших,
Пытатели немой судьбы,
Искатели сокровищ потонувших, —
Вы ждете трепетно трубы?

В свой срок, бесстрастно неизменный,
Пробудит дали тот сигнал.
Никто бунтующий и мирный пленный
Своей судьбы не отогнал.

Река все та ж, но капли разны,
Безмолвны дали, ясен день,

Цвета цветов всегда разнообразны
И солнца свет сменяет тень.

Наш взор не слеп, не глухо ухо,
Мы внемлем пенью вешних птиц.
В лугах – тепло, предпразднично и сухо —
Не торопи своих страниц.

Готовься быть к трубе готовым,
Не сожалея и не гадай,
Будь мудро прост к теперешним оковам,
Не закрывая глаз на Май.

3

Окна плотно занавешены,
Келья тесная мила,
На весах высоких взвешены
Наши мысли и дела.

Дверь закрыта, печи топятся,
И горит, горит свеча.
Тайный друг ко мне торопится,
Не свища и не крича.

Стукнул в дверь, отверз объятия;
Поцелуй, и вновь, и вновь, —
Посмотрите, сестры, братия,
Как светла наша любовь!

4

Моя душа в любви не кается —
Она светла и весела.

Какой покой ко мне спускается!
Зажглися звезды без числа.

И я стою перед лампадами,
Смотря на близкий милый лик.
Не властен лед над водопадами,
Любовных вод родник велик.

Ах, нужен лик молебный грешнику,
Как посох странничий в пути.
К кому, как не к тебе, поспешнику,

Любовь и скорбь свою нести?

Но знаю вес и знаю меру я,
Я вижу близкие глаза,
И ясно знаю, сладко верую:
«Тебе нужна моя слеза».

5

Я вспомню нежные песни
И запою,
Когда ты скажешь: «Воскресни».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.